



Дмитрий Галин

# Притяжение огней: Огоньки Вельмонта

18+

Дмитрий Галин

**Притяжение огней:  
Огоньки Вельмонта**

«Автор»

2026

**Галин Д. С.**

Притяжение огней: Огоньки Вельмонта / Д. С. Галин — «Автор»,  
2026

Вельмонт — город паровых машин, газовых фонарей и вечного смога, где Департамент по расследованию мистических происшествий давно стал обычной строчкой в разделе полицейской хроники: ещё один правоохранительный орган, разбирающий «особо странные» дела. О том, что стоит за этим названием на самом деле, горожане предпочитают не задумываться — мало ли что болтают на рынках да в тавернах. Для Эдварда Кроу — стажёра ДРМП, только вчера потерявшего отца и обретшего способность видеть то, что скрыто от остальных, — слухи оказываются правдой. Духи вокруг — на каждом углу, в цветах на подоконнике, в старых вещах, в дыме фабричных труб. Они льнут к нему с необъяснимой теплотой — добрые и злые, огромные и едва заметные, — хотя ни один обычный человек в городе даже не подозревает об их существовании. Но кто-то в Вельмонте охотится не на слухи. Кто-то охотится на таких, как он. И чем глубже Эдвард погружается в первое настоящее расследование, тем яснее понимает: его редкий дар — не просто счастлива

© Галин Д. С., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 5  |
| Глава 2                           | 8  |
| Глава 3                           | 13 |
| Глава 4                           | 17 |
| Глава 5                           | 21 |
| Г                                 | 26 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 27 |

# Дмитрий Галин

## Притяжение огней: Огоньки Вельмонта

### Глава 1

Первое, что я почувствовал, — запах воска и мокрой шерсти.

Потом — гул голосов, приглушённый, будто сквозь вату. Потом — тяжесть в груди, странную, чужую, словно кто-то втиснул меня в костюм на два размера меньше и застегнул все пуговицы разом.

Я открыл глаза.

Комната была маленькой, низкой, с закопчённым потолком и единственным окном, в которое едва пробивался серый дневной свет — то ли раннее утро, то ли поздний вечер, не разобрать. Пахло воском от свечей, мокрой шерстяной одеждой, остывшим чаем и — тонко, почти неразличимо — сырой землёй. В комнате было полно людей в тёмном. Они говорили тихо, кивали друг другу, кто-то всхлипывал в углу.

На столе у стены стоял закрытый гроб.

Я не сразу понял, что сижу. Что у меня есть руки — не мои руки, чужие, костлявые, с обломанным ногтем на большом пальце. Что на мне сидит незнакомый пиджак, застиранный до блеска на локтях. Что кто-то — судя по голосу, женщина — только что тронул меня за плечо и что-то спросил, а я не ответил, потому что всё ещё пытался понять, какого чёрта происходит.

Последнее, что я помнил — по-настоящему помнил, из своей, прежней жизни — это больничный потолок, писк аппаратов и мысль, вялая, без всякого страха: «ну вот и всё, значит». А потом темнота. Долгая, спокойная темнота, в которой не было ни снов, ни времени.

А теперь — воск, гроб, чужие костлявые руки и женщина, которая тронула меня за плечо второй раз, настойчивее.

— Эдвард. Эдвард, милый, ты меня слышишь?

Голос был усталый, надтреснутый — голос человека, который плакал так много, что слёзы кончились, и осталось только сухое, механическое горе. Я повернул голову — медленно, будто в первый раз в жизни управлял этой шеей, — и увидел женщину лет сорока пяти, в чёрном платке, с покрасневшими глазами и морщинами, которых, кажется, ещё вчера у неё не было. Она смотрела на меня с тревогой, смешанной с чем-то вроде вины — как смотрят на человека, которого потревожили в горе, но иначе было нельзя.

— Я... — сказал я, и голос вышел чужой, ломкий, юношеский. — Да. Слышу.

Она облегчённо выдохнула и сжала мою руку — мою новую руку — обеими своими, шершавыми, в мозолях от иглы и напёрстка.

— Ты весь вечер как неживой сидишь. Я уж испугалась.

За её спиной, вцепившись в подол её платья, стояла девочка — лет двенадцати-тринадцати, худенькая, с тем же оттенком русых волос, что и у женщины, с глазами, слишком взрослыми для её возраста. Она не плакала. Она смотрела на закрытый гроб так, будто ждала, что крышка вот-вот приподнимется и всё окажется ошибкой.

Мама. Сестра. Отец — в гробу.

Я не знал их. Совсем. И в то же время где-то на самом дне этого чужого тела шевельнулось что-то — не память, а эхо памяти, отпечаток, как тепло от руки, которую только что убрали со стола. Тело знало этих людей. Тело любило эту женщину и эту девочку так, как я никогда никого не любил. А я — тот, кто теперь смотрел их глазами, — был здесь чужаком, незванным гостем, который влез в чужую жизнь в самый страшный её день.

Мысль эта должна была бы меня раздавить. Вместо этого пришло странное, почти постыдное спокойствие — то самое, больничное, с каким я принял темноту. Видимо, паниковать я разучился раньше, чем оказался здесь.

Мысленно я извинился — перед этим телом, которое теперь было моим, и перед этой семьёй, которая хоронила отца, даже не подозревая, что рядом с ней сидит кто-то другой, чужой, занявший место её сына. Вслух же сказал только:

— Прости, я просто... устал.

— Конечно устал, — сказала мать — я решил называть её так, раз уж тело настаивало, — и погладила меня по щеке заскорузлой ладонью. — Иди приляг, Эд. Люди ещё побудут, я справлюсь.

Я не сдвинулся с места. Не потому что хотел ей возразить — потому что не знал, куда идти. Не знал, где в этом доме лежанка, где дверь, где выход на улицу. Не знал, как зовут женщину, которая только что назвала меня сыном. Не знал собственного имени, пока не услышал его от неё.

Эдвард. Значит, меня — то есть его — звали Эдвард.

Девочка вдруг отлепилась от материнского подола и подошла ближе. Она долго смотрела на меня — исподлобья, серьёзно, совсем не по-детски, — а потом сказала тихо, так, чтобы услышал только я:

— Ты какой-то другой сегодня.

У меня внутри всё похолодело.

— Другой? — переспросил я как можно ровнее.

— Не знаю. — Она пожала худыми плечами, снова стала просто уставшей девочкой на поминках отца. — Просто другой. Как будто задумался о чём-то очень далёком.

— Я задумался об отце, — соврал я, и, кажется, соврал неплохо, потому что она кивнула и отошла обратно к матери, взяла её за руку.

Я выдохнул — медленно, стараясь, чтобы это не было заметно, — и в этот момент периферийным зрением поймал что-то странное.

Свет.

Не от свечей — свечи горели ровным жёлтым пламенем, оплывая на латунных подсвечниках. Это было другое: крошечная искра, тёплая, голубовато-белая, размером с пуговицу, парящая у самого потолка, над столом, где стоял гроб. Она не мерцала, как пламя. Она... дышала. Медленно разгоралась и медленно гасла, будто у неё было что-то вроде пульса.

Я моргнул. Искра осталась на месте.

Я повернул голову — резко, слишком резко для человека, который «просто устал», — и посмотрел прямо на неё. Она была реальной. Не бликом, не усталостью глаз, не игрой света в задымлённой комнате. Крошечный огонёк висел в воздухе, будто рассматривал происходящее внизу с тем же недоумением, что и я.

И — я мог поклясться, хотя это было абсурдно, — он смотрел на меня. Не в переносном смысле. В самом буквальном.

Никто из скорбящих не поднимал головы. Никто не замечал ничего, кроме гроба, свечей и друг друга. Женщина в чёрном платке шептала что-то соседке. Мужчина у двери снял шапку и снова надел. Девочка — Лилли, вспомнилось мне откуда-то, будто имя всплыло со дна колодца, — стояла, прижавшись к матери, и по-прежнему смотрела на гроб.

Один я видел огонёк.

Он качнулся — едва заметно, будто на невидимом сквозняке, — и вдруг двинулся. Медленно, лениво, он спустился ниже, ниже, пока не оказался почти вровень с моими глазами, в паре шагов от меня, над столом, на котором среди прочих отцовских вещей лежали старые карманные часы на потёртой медной цепочке.

Огонёк завис прямо над ними.

Помедлил.

И погас — не исчез, а именно погас, как задутая свеча, оставив после себя лёгкий, почти неощутимый след тепла в воздухе, будто там, где он был, воздух согрелся на долю градуса.

Я так и сидел, уставившись в пустое пространство над отцовскими часами, пока мать снова не тронула меня за плечо.

— Эдвард?

— Да, — сказал я, не отрывая взгляда от точки, где секунду назад была искра. — Да, всё хорошо.

Это было неправдой. Ничего не было хорошо. Я умер — я был почти уверен, что умер, — и очнулся в чужом теле, в чужой семье, в комнате, полной людей, которые плакали не по мне, глядя на свет, которого не видел больше никто.

Но где-то там же, под этим ужасом, подо всей этой неправильностью, шевельнулось и другое чувство — тихое, упрямое, совсем не вовремя.

Любопытство.

Я посмотрел на отцовские часы, лежащие на столе среди свечей, и подумал: что бы это ни было — оно ещё вернётся.

Так и вышло. Но тогда я об этом ещё не знал.

## Глава 2

Утро началось с того, что я не сразу вспомнил, как меня зовут.

Секунду или две я лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в звуки дома — скрип половиц где-то внизу, стук посуды, тонкий, требовательный плач младенца за стеной, чужого, не нашего: судя по звуку, доносился он откуда-то с улицы, через тонкую стену, — и пытался понять, где я и кто я. А потом всплыло: Эдвард. Эдвард Кроу. Двадцать два года. Мать — Марта. Сестра — Лилли. Отец — вчера похоронили.

Я открыл глаза.

Комната оказалась меньше, чем казалась вечером при свечах: скошенный потолок — судя по всему, мансарда, — узкая кровать, на которой я лежал, сундук у стены, колченогий стул с наброшенной на спинку рубашкой. Сквозь маленькое окошко без занавески било утреннее солнце, тусклое, пробивающееся сквозь пелену дыма, которая, кажется, вообще никогда не рассеивалась над этим городом. Где-то далеко гудел паровой гудок — протяжно, низко, будто вздыхал сам город.

Я сел, спустил ноги на холодный пол и обнаружил, что на мне вчерашняя рубашка — видимо, лёг спать не раздеваясь: в мансарде было холодно, а сил разбираться с пуговицами вчера явно ни на что не осталось. Тело, впрочем, кажется, помнило всё лучше меня: ноги сами нашли, куда ступить, чтобы не наткнуться на выступающую половицу, рука сама потянулась к тазу с водой на сундуке.

Я плеснул в лицо холодной водой и посмотрел на своё отражение в мутном, в разводах, зеркальце над тазом.

На меня смотрел незнакомец. Худое лицо, острые скулы, тёмные волосы, которые давно просили стрижки, и глаза — карие, усталые, с залёгшими под ними тенями. Не моё лицо. Совсем не моё. И всё же — моё теперь, единственное, какое у меня есть.

— Ну здравствуй, Эдвард, — тихо сказал я отражению, и оно, разумеется, не ответило.

Внизу, на первом этаже — весь дом состоял из этого первого этажа и моей мансарды под крышей, — уже вовсю кипела жизнь. Я спустился по узкой скрипучей лестнице и оказался в единственной большой комнате, которая, судя по всему, служила разом кухней, гостиной и мастерской. У очага, помешивая что-то в закопчённом котелке, стояла мать. У окна, склонившись над разложенной на столе тканью, сидела Лилли — с иголкой в руке, сосредоточенно хмураясь, совсем не по-детски.

— О, проснулся, — сказала мать, не оборачиваясь, будто у неё на затылке был ещё один глаз. — Садись, каша почти готова.

— Доброе утро, — сказал я и тут же понял, что не знаю, куда садиться. За столом стояло всего два стула и одна лавка; я неловко потоптался и в итоге сел на лавку рядом с Лилли, чем заслужил от неё короткий, удивлённый взгляд — видимо, обычно я садился в другое место.

Я мысленно взял на заметку: узнать своё место за столом.

Мать поставила передо мной миску с кашей — жидкой, серой, пахнущей то ли овсом, то ли чем-то похожим на овёс, но подешевле, — и я вдруг с острой ясностью осознал, насколько эта семья бедна. Не в абстрактном, книжном смысле «бедная семья» из какого-нибудь романа, а в самом буквальном: заштопанная в трёх местах скатерть, треснувшая, но заботливо склеенная чашка, тонкие, до дыр протёртые локти на рубашке, которую я, судя по всему, донашивал не первый год.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила мать, садясь напротив со своей миской. Голос у неё был осторожный, будто она боялась разбить что-то хрупкое неверным словом. — Вчера ты был сам не свой.

— Нормально, — соврал я и, спохватившись, добавил: — Просто... тяжёлый день был.

— Тяжёлый месяц, — тихо поправила она, глядя в свою кашу. — Тяжёлый месяц был. Лилли, до этого молча ковырявшая ложкой в тарелке, вдруг подняла голову.

— Мам, а на что мы теперь будем жить? — спросила она с прямотой, свойственной только детям и очень уставшим взрослым.

— Лилли, — укоризненно одёрнула её мать.

— Что? Это правда важный вопрос.

Мать вздохнула, и в этом вздохе было столько усталости, что я невольно поёжился.

— Буду больше шить. Миссис Хоббс с Мельничной обещала заказы. И Эдвард теперь взрослый мужчина, — она посмотрела на меня с надеждой, от которой у меня внутри что-то неприятно сжалось, — найдёт работу получше той, что была у него в порту.

Я похолодел. Работа в порту. У Эдварда — у меня теперь, видимо, — была какая-то работа, о которой я не знал совершенно ничего: ни в чём заключалась, ни куда идти, ни к кому обращаться.

— Да, — сказал я как можно увереннее. — Конечно. Я... подумаю, что можно сделать.

Мать посмотрела на меня чуть дольше, чем нужно было для обычного разговора, и мне на миг показалось, что она что-то заподозрила. Но затем она просто кивнула и вернулась к каше, а я выдохнул и мысленно поклялся себе быть осторожнее.

После завтрака я вызвался вынести мусор — не столько из благородства, сколько из желания наконец выбраться наружу и своими глазами увидеть город, в котором мне предстояло теперь жить.

Улица встретила меня шумом и запахом гари, мокрого камня и чего-то ещё — сладковатого, химического, как будто где-то неподалёку работала красильня или мыловарня. Дома здесь лепились друг к другу тесно, плечом к плечу, узкие, в два-три этажа, с бельевыми верёвками, перекинутыми прямо через улицу от окна к окну. По мостовой гроыхала телега, гружённая бочками; возница, завидев меня, коротко кивнул — привычно, буднично, будто я был для него давно знакомым лицом. Наверное, так и было — просто не для меня.

Вдалеке, там, где улица спускалась к реке, я разглядел частокол дымящих труб — высоких, кирпичных, возвышающихся над крышами, как соборные шпили в каком-нибудь другом, более благочестивом городе. Где-то там снова взвыл паровой гудок, и следом за ним другой, чуть выше тоном, будто они переговаривались друг с другом на своём, машинном языке.

Я поставил ведро у сточной канавы, как показала мне память тела — снова эта странная, услужливая память, действующая быстрее, чем я успевал подумать, — и на мгновение замер, просто вслушиваясь в город.

И тогда я увидел ещё один огонёк.

Он был меньше вчерашнего, тусклее — бледно-зелёный, едва заметный, — и сидел, если это слово вообще подходило, на чахлом кустике, пробившемся у стены между двух домов. Куст выглядел так, будто ему давно полагалось засохнуть в этой каменной тесноте без единого клочка настоящей земли, — и тем не менее он жил, цеплялся за жизнь упрямее любого разумного растения.

Может быть, из-за этого огонька.

Я подошёл ближе — медленно, стараясь не спугнуть его, хотя понятия не имел, можно ли вообще «спугнуть» огонёк, — и присел на корточки рядом с кустом. Огонёк качнулся, как пламя свечи на сквозняке, и — мне снова показалось, хотя «показалось» было явно неправильным словом, — повернулся ко мне, будто у него было что-то вроде лица.

— Привет, — тихо сказал я, чувствуя себя при этом невероятно глупо. Разговаривать с кустом на людной улице было, мягко говоря, не лучшим способом сохранить репутацию нормального человека.

Огонёк не ответил — да я, признаться, и не ждал ответа, — но качнулся снова, на этот раз будто бы приветливо, и на пару мгновений разгорелся чуть ярче. Мне вдруг стало необъяснимо тепло, не физически, а где-то внутри, в груди, — простое, безыскусное чувство узнавания, будто кто-то маленький и доброжелательный помахал мне рукой.

— Эй! Ты что там делаешь?

Я вздрогнул и обернулся. На пороге соседнего дома стояла женщина в переднике, поверх которого была наброшена шаль, и смотрела на меня с прищуром — не враждебным, скорее озадаченным.

— Ничего, — быстро сказал я, поднимаясь. — Просто... цветок красивый.

Она посмотрела на чахлый, наполовину засохший куст с явным недоверием к моим представлениям о красоте, но потом, видимо, решила, что не её дело разбираться в странностях соседского парня, махнула рукой и скрылась в доме.

Огонёк на кусте, кажется, находил всю эту сцену забавной — по крайней мере, он замерцал ещё веселее, прежде чем окончательно потускнеть и слиться с обычным дневным светом.

Мать, узнав, что я иду выносить мусор, тут же вручила мне список покупок и мелочь, завязанную в узелок тряпицы, — соль, немного муки, если хватит денег, и, если получится сторговаться, кусок мыла подешевле. Список был написан аккуратным, но неровным почерком — видно, что писала второпях, — и я мысленно поразился, что вообще умею читать на этом языке, хотя ещё вчера не был в этом уверен.

Рынок оказался в двух кварталах от дома — тесная, шумная площадь, зажатая между доходными домами, вся уставленная лотками и телегами. Торговцы кричали наперебой, расхваливая рыбу, зелень, какие-то подозрительного вида пирожки; где-то играла шарманка, фальшивя на каждой третьей ноте; мальчишка лет восьми ловко лавировал между людьми, разнося пачки утренних газет и выкрикивая заголовки таким звонким, отработанным голосом, что я невольно замедлил шаг, вслушиваясь.

Но не крики торговцев заставили меня замедлить шаг ещё раз, уже у самого рынка.

Огоньки были повсюду.

Стоило мне приглядеться — по-настоящему приглядеться, а не просто скользить взглядом по толпе, — как они начали проступать один за другим, будто кто-то невидимой рукой зажигал крошечные лампадки по всему городу. Бледно-жёлтый огонёк дремал в щели между камнями мостовой. Голубоватый, чуть крупнее, сидел на бельевой верёвке рядом с сохнувшими простынями и мерно покачивался в такт ветру, хотя сами простыни при этом не шевелились вовсе. У колеса телеги с углём копошился огонёк грязно-серого, почти неразличимого на фоне сажи оттенка — угрюмый, тусклый, он держался особняком и, кажется, вовсе не замечал никого вокруг. На вывеске лавки, изображавшей улыбающуюся рыбу, притаился крошечный зеленоватый огонёк — не то дух самой вывески, не то чего-то более старого, что жило здесь задолго до лавки.

Никто из прохожих их не видел. Люди шли сквозь них, мимо них, иногда — как мне казалось — почти задевая, и ни один не вздрагивал, ни один не оборачивался. Для всего рынка это было просто утро, шум, суета, обычная толчея — а для меня город вдруг открылся как что-то совсем иное: живое вторым, скрытым слоем, полное крошечных, тлеющих огоньков, о существовании которых никто, кроме меня, даже не подозревал.

И что было ещё более странно — стоило мне задержать взгляд на любом из них дольше секунды, как огонёк словно бы чувствовал это. Огонёк на бельевой верёвке качнулся сильнее, будто помахал. Зеленоватый на вывеске рыбной лавки разгорелся чуть ярче. Даже угрюмый, грязно-серый у колеса телеги на миг поднял — если так можно было выразиться про существо

без лица — что-то вроде головы в мою сторону, замер, будто удивившись, и тут же вновь съёжился в тени колеса.

Я шёл через рынок медленнее, чем следовало, то и дело останавливаясь якобы для того, чтобы рассмотреть товар на очередном лотке, а на деле — чтобы украдкой проводить взглядом ещё один огонёк, вынырнувший из щели ставни или мелькнувший в кроне чахлого дерева у водокачки. Их были десятки. Возможно, сотни — я быстро сбился со счёта. И почти каждый из них, стоило мне пройти достаточно близко, будто оборачивался вслед — на долю секунды, лениво, с сонным, беззлобным любопытством, — а потом вновь гас, растворялся в своих делах, каким бы ни было это «дело» у огонька, застрявшего в щели мостовой.

Одна мысль засела у меня в голове, пока я протискивался сквозь толпу к прилавку с мукой: может быть, дело было вовсе не в том, что я вдруг научился их видеть. Может быть, дело было в том, что они — все, сколько их тут было, — тоже чувствовали меня. И, судя по всему, находили во мне что-то любопытное.

— Убийство на Пепельной набережной! Полиция бессильна, вызван ДРМП! Читайте подробности!

Я замер.

ДРМП. Слово зацепилось за что-то внутри — не за память тела, а за моё собственное, свежее любопытство, — и я, не удержавшись, подозвал мальчишку и выменял на медный грош измятый листок с передовицей.

Статья оказалась короткой и не слишком содержательной — что-то про странную смерть портового смотрителя, «обстоятельства которой заставили полицию обратиться за помощью в Департамент по расследованию мистических происшествий», — но сам факт, что подобная организация существовала открыто, что о ней с готовностью писали в газетах, будто речь шла об обычном отделении полиции, заставил меня задуматься.

Значит, мир, в который я попал, официально признавал существование того, что я видел вчера ночью и сегодня утром. Кто-то расследовал такие вещи. Кто-то этим зарабатывал на жизнь.

Я сложил листок и сунул его в карман — потом решу, что с ним делать, — и вернулся к списку покупок.

У прилавка с мукой торговка, полная женщина с обветренным лицом, узнала меня с полувзгляда.

— Эдвард! Прими мои соболезнования, милый. Отец твой хорошим человеком был.

— Спасибо, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Марте передавай, если муку хорошую хочет — у меня как раз завоз свежий, для неё уступлю.

Я кивнул, хотя понятия не имел, была ли эта женщина просто доброй соседкой или у неё с матерью были какие-то давние договорённости, — и в очередной раз остро ощутил, насколько эта жизнь была уже прожита до меня, насквозь пропитана связями, долгами, привычками, о которых я не знал ровным счётом ничего. Я покупал муку, соль и мыло, кивал знакомым лицам, которые для меня были совершенно незнакомыми, и улыбался, стараясь ничем не выдать, что внутри этой знакомой всем оболочки — совершенно другой человек.

К тому моменту, когда я возвращался домой с полной корзиной, солнце уже клонилось к закату, и дымная пелена над городом окрасилась в грязновато-оранжевый цвет — красиво, если не думать о том, чем на самом деле было это марево.

К вечеру я успел выяснить о своей новой жизни немногим больше, чем утром, — но по крупикам, из обрывков разговоров и случайных замечаний, картина всё же начала складываться.

Отец Эдварда работал в доках — таскал грузы, следил за погрузкой угля на баржи, — и погиб около месяца назад: несчастный случай, сорвавшаяся цепь, никто толком не мог объяснить, как это произошло на площадке, где всё было десять раз проверено. Мать шила на заказ для зажиточных семей в верхней части города и еле сводила концы с концами. Лилли училась в приходской школе — «пока платят за неё соседи, из уважения к отцу», как выяснилось из случайно услышанного разговора матери с соседкой, — и, судя по всему, была куда смыслёнее, чем позволяла себе показывать при матери.

А сам Эдвард — то есть я — последние полгода перебивался случайными заработками в порту: разгрузка, беготня по поручениям, всё, что подворачивалось. Ничего постоянного. Ничего такого, ради чего стоило бы притворяться, будто я в этом разбираюсь.

За ужином — жидкий суп, кусок хлеба на троих, — мать снова заговорила о деньгах, на этот раз мягче, будто извиняясь заранее за то, что придётся сказать.

— Мистер Долтон с верфи спрашивал о тебе на прошлой неделе, — сказала она, не глядя на меня. — Сказал, если захочешь, может взять тебя на постоянную работу. Тяжёлая работа, но платят исправно.

Я мысленно взвесил это — работа в доках, тяжёлая, опасная, судя по всему, такая же, что убила отца, — и почувствовал, как внутри что-то восстаёт против этой идеи. Не только из осторожности. Из чего-то более простого: мысли о том, что провести остаток этой чужой жизни, таская мешки с углём, казалось невыносимо тесным будущим для человека, который ещё вчера видел, как огонёк-дух завис над отцовскими часами и глядел прямо на него.

— Я подумаю, — сказал я снова, и на этот раз мать вздохнула чуть тяжелее.

— Подумай, Эд. Только не слишком долго думай. Нам нужны деньги.

После ужина, когда Лилли уже унесла спать — вернее, она сама ушла, гордо заявив, что никто её никуда не уносит, ей тринадцать, а не пять, — я остался ненадолго за столом с матерью. Она чинила при свете лампы старую рубашку, и в этой сцене — тусклый свет, мерное движение иглы, усталое, но спокойное лицо — было что-то настолько простое и настоящее, что у меня вдруг перехватило горло.

Эти люди меня не знали. По-настоящему не знали — я был чужаком, укравшим тело их сына и брата, самозванцем в их горе. И всё же мать смотрела на меня с такой открытой, беззащитной надеждой, что мне отчаянно, до боли захотелось эту надежду оправдать.

— Мам, — сказал я, впервые произнося это слово вслух с чем-то похожим на настоящее чувство, а не просто заученную реплику. — Всё будет хорошо. Я найду способ.

Она подняла на меня взгляд — удивлённый, чуть настороженный, будто уловила в моём голосе что-то новое, чего не слышала раньше, — и на мгновение мне показалось, что она снова что-то заподозрит.

Но потом она просто улыбнулась — устало, но искренне — и сказала:

— Знаю, что найдёшь. Ты весь в отца.

Я улыбнулся в ответ, хотя внутри всё сжалось от этих слов, и подумал: если бы она знала, насколько я на самом деле не тот, за кого она меня принимает.

А наверху, в своей мансарде, засыпая под скрип половиц и далёкий гул паровых машин, я подумал ещё об одном: об огоньке на чахлом кустике, о том, что он смотрел на меня так, будто узнал; и о том, что где-то в этом городе, полном дыма, нищеты и чужих для меня людей, которые почему-то уже стали для меня важны, — есть что-то ещё. Что-то, что видел только я.

И засыпая, я впервые за этот бесконечно долгий день почувствовал не страх и не растерянность, а слабое, почти незаметное предвкушение.

## Глава 3

На третий день после похорон мать решила, что пора сходить на могилу — «положено, чтобы душа успокоилась», сказала она, и я не стал спрашивать, чья душа имелась в виду: отца или её собственная.

Мы шли втроём: мать впереди, с букетом простых полевых цветов, купленных по дороге у мальчишки на углу за смешные деньги; Лилли рядом со мной, непривычно тихая, засунув руки в карманы старого, явно перешитого из чьего-то взрослого пальтеца; и я — позади, стараясь идти в ногу с телом, которое, кажется, знало дорогу на кладбище куда лучше меня.

Кладбище оказалось на окраине, там, где теснота доходных домов наконец расступалась, уступая место низким кирпичным стенам и ряду покосившихся от времени крестов и памятников. Дым здесь тоже был, но реже, тоньше, будто даже фабричная копоть проявляла к этому месту какое-то подобие уважения. Между могилами росли жёсткая трава и редкие, упрямые деревца, а вдалеке, у самой стены, темнела часовня — маленькая, будто вросшая в землю, с покосившимся шпилем.

Я думал, что буду готов. Что после рынка, после кустика с зелёным огоньком, после долгих суток непрерывного удивления — ничто уже не застанет меня врасплох.

Я ошибался.

Кладбище было живым.

Не в том смысле, что земля дышала или кресты шевелились, — нет, ничего настолько театрального. Просто здесь, среди могил, огоньков было больше, чем где бы то ни было в городе, и они были другими. Крупнее. Плотнее. Некоторые светились ровно и тепло, будто маленькие домашние лампы. Другие — тускло, прерывисто, как умирающая свеча на сквозняке. А один, возле покосившегося креста ближе к дальней стене, был совсем тёмным — не огоньком даже, а провалом, пятном черноты чуть плотнее теней вокруг, — и от него у меня по спине пробежал неприятный холодок задолго до того, как я осознал, что вообще на него смотрю. Я поспешно отвёл взгляд и мысленно взял на заметку: держаться от той стороны подальше.

Мать остановилась у свежего холмика земли — совсем недавнего, ещё без креста, только с деревянной табличкой, — и опустилась на колени, начиная выкладывать цветы. Лилли встала рядом, молча, глядя в землю. Я остался чуть позади, не зная, что делать с руками, с лицом, со всем этим горем, которое было настоящим для них двоих и наполовину чужим для меня.

И тут я увидел его.

Прямо над свежей могилой, там, где должен был лежать отец Эдварда, висел огонёк. Тёплый, золотисто-жёлтый, ровный — не мерцающий тревожно, как многие другие вокруг, а спокойный, почти умиротворённый. Он держался низко, почти касаясь земли, будто нарочно старался быть ближе к тем, кто пришёл его навестить.

Я замер.

Мать этого огонька, разумеется, не видела. Она гладила деревянную табличку заскорузлыми пальцами и что-то тихо говорила — не мне, не Лилли, а прямо в землю, — какие-то слова, которые я из вежливости постарался не разбирать, слишком личные для чужих ушей. Лилли тоже молчала, глядя в одну точку, и я готов был поклясться, что точка эта была именно там, где висел огонёк, — хотя, конечно, увидеть его она не могла.

Или могла?

Я присмотрелся к сестре внимательнее. На миг мне показалось, что её взгляд слишком точно, слишком не случайно совпадает с местом, где парил огонёк, — но потом она моргнула, шмыгнула носом и отвернулась, вытирая глаза рукавом, и я решил, что это просто совпадение,

что горе тянет взгляд человека к одному и тому же месту вне зависимости от того, видит он что-то или нет.

Огонёк качнулся.

Медленно, будто раздумывая, он отделился от земли и подплыл ко мне — не резко, не пугающе, а с той же неспешной, тёплой доверчивостью, что и кустик на улице позавчера. Он завис прямо передо мной, на уровне груди, и на этот раз, впервые с момента моего пробуждения в этом мире, что-то произошло по-настоящему.

Внутри меня — не в ушах, не в глазах, а где-то глубже, в самой сердцевине сознания — вспыхнул образ.

Мужские руки, грубые, в мозолях, глядят по голове маленькую девочку. Смех — низкий, добрый. Запах табака и машинного масла. Ощущение усталости после долгого рабочего дня и удовлетворения от того, что дома тебя всё равно ждут. Тёплая тяжесть карманных часов на цепочке, привычно оттягивающая жилетный карман. И — совсем коротко, будто вспышка, — гордость. Спокойная, невысказанная гордость за сына, который, пусть и без особых успехов, всё же старается.

Я задохнулся, будто меня окатили ледяной водой, хотя чувство было ровно противоположным — тёплым, до слёз тёплым.

— Эд? — Мать подняла на меня взгляд, встревоженная моим лицом, которое, видимо, выразило что-то, чего я даже не осознавал. — Ты в порядке?

— Да, — выдавил я, чувствуя, как горло сжимается. — Просто... вспомнил кое-что.

Огонёк тем временем снова качнулся, будто удовлетворённый, и медленно поплыл обратно, к своему месту над свежей землёй. Он не был злым духом, не был чем-то опасным — это я понял так же ясно, как понимал бы обычные слова. Он просто был здесь. Присматривал. Помнил.

Я не знал наверняка, чей это был дух — самого ли отца Эдварда, задержавшегося на границе между уходом и покоем, или просто какой-то доброжелательной сущности кладбища, впитавшей в себя обрывок чужой памяти о хорошем человеке. Но какая-то часть меня — та часть, что всё ещё считала себя гостем в чужой жизни, — очень хотела, чтобы это был именно он. Отец. Пусть я никогда его не знал, пусть память об этих грубых, добрых руках принадлежала не мне, а телу, которое я теперь носил, — мне отчаянно хотелось верить, что где-то здесь остался кусочек тепла, который так просто не гаснет.

Пока мать оставалась у могилы, я, стараясь не привлекать внимания, отошёл побродить между рядами — отчасти из уважения к её уединению, отчасти потому, что не мог удержаться от искушения посмотреть, что ещё скрывает это место.

Огоньков было действительно много, и, приглядевшись, я начал замечать между ними различия, которых не видел на рынке — там всё сливалось в общую пёструю толчею, а здесь, в относительной тишине, каждый огонёк будто существовал отдельно, со своим характером.

Один — бледный, дрожащий — жался к покосившемуся кресту так, будто боялся его покинуть; стоило мне подойти ближе, как он весь сжался, и я поспешил отойти, устыдившись, что напугал кого-то настолько хрупкого. Другой, крупный и ярко-рыжий, беззаботно порхал между старыми, поросшими мхом надгробиями, будто играл в какую-то одному ему известную игру, и на меня даже не взглянул — слишком занят был собственным весельем. Третий сидел на трещине старого камня почти неподвижно, ровно и почти незаметно тлея, — не то спящий, не то настолько древний, что ему было уже всё равно на происходящее вокруг.

А ещё я заметил закономерность, показавшуюся мне важной: огоньки будто «прилипали» не только к могилам, но и к вещам. К покосившемуся деревянному кресту. К ржавой оградке одного из участков. К одинокому, чудом выжившему на кладбищенской земле розовому кусту,

вцепившемся корнями в щель между камнями, — там, среди бледно-розовых, увядающих на холоде бутонов, сидел ещё один огонёк, мягкий, сиреневатый, покачивающийся, будто в такт какой-то неслышной мелодии.

Духи вселялись не только в людей и не только в места. Они льнули к вещам — к тому, что было старым, ношеным, любимым или просто долго стоявшим на одном месте. Может быть, поэтому отцовские часы так притягивали тот, первый огонёк на поминках. Может быть, вещи, прожившие рядом с человеком достаточно долго, впитывали в себя что-то от него — и духи это чувствовали.

Чуть дальше, у могилы, судя по дате на треснувшем камне, пролежавшей в земле не один десяток лет, я наткнулся на нечто новое: не один огонёк, а сразу два, сплетённые друг с другом так тесно, что поначалу я принял их за одно целое. Один — блёкло-голубой, второй — почти белый, едва различимый на фоне серого камня, — они кружили друг вокруг друга медленно, неторопливо, как в танце, которому, похоже, было куда больше лет, чем мне самому в моей прежней жизни. Я невольно замедлил шаг, зачарованный этим зрелищем, и мне вдруг пришла в голову странная, но необъяснимо утешительная мысль: может быть, не все истории здесь заканчивались одиночеством. Может быть, некоторые продолжались — просто в другой форме, без слов, без тел, но вместе.

Я прошёл ещё немного и остановился у неприметной, вросшей в землю плиты без имени — только выбитый на камне простой крест, ничего больше. Здесь огонька не было вовсе, ни одного, и что-то в этой пустоте казалось более тревожным, чем даже тёмное пятно у дальней стены. Пустая могила без единого огонька выглядела так, будто из неё вычерпали всё до последней капли — или будто тот, кто там лежал, ушёл настолько полно, что не оставил после себя даже слабого отголоска. Я постоял рядом с минуту, сам не зная, чего жду, а потом двинулся дальше, чувствуя себя отчего-то виноватым — хотя перед кем и в чём, объяснить не смог бы.

Ближе к маленькой покосившейся часовне обнаружилась целая стайка мелких, совсем крошечных огоньков — не крупнее искры от костра, — вьющихся вокруг забытого, поросшего лишайником каменного колодца. Завидев меня, они не отпрянули, как большинство, — напротив, будто расшалившиеся дети, устремились в мою сторону всей стайкой, закружили вокруг, щекотно, невесомо задевая воздух у самого лица. Я невольно рассмеялся — впервые за эти три тяжёлых дня, — вскинул руку, будто отмахиваясь от мошкар, и стайка тут же рассыпалась в разные стороны с чем-то похожим на радостный, беззвучный смех, а потом вновь собралась поодаль, продолжая с любопытством меня разглядывать.

Именно тогда я почувствовал на себе взгляд — не человеческий, другой, тяжелее, пристальнее. Я поднял голову и увидел, что тёмное пятно у дальней стены, то самое, от которого меня передёрнуло раньше, теперь смотрело прямо на меня.

Оно не двигалось. Просто наблюдало — молчаливо, неподвижно, с чем-то вроде голодного любопытства, от которого у меня волосы на затылке встали дыбом.

Я не стал задерживаться, чтобы выяснить, что это было. Развернулся и как можно спокойнее, стараясь не бежать, зашагал обратно, туда, где мать всё ещё сидела у могилы, а Лилли терпеливо ждала рядом, ковыряя носком ботинка мёрзлую землю.

— Всё хорошо? — спросила мать, когда я подошёл ближе, и в её голосе я уловил лёгкую тревогу — не мистическую, обычную, материнскую: похоже, я слишком долго отсутствовал и, видимо, выглядел бледнее обычного.

— Да, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Просто гулял. Здесь... спокойно.

Отчасти это было правдой. Здесь действительно было спокойно — в основном. И всё же, уходя с кладбища тем вечером, я то и дело оглядывался — не столько на могилу отца, сколько в сторону дальней стены, где в сгущающихся сумерках затаилось что-то, что смотрело на меня так, будто уже знало моё имя.

Лилли, шагая рядом, вдруг тихо, почти неслышно спросила:

— Эд, а ты веришь, что мёртвые остаются рядом? Ну, хоть немножко?

Я посмотрел на неё — серьёзную, не по годам взрослую, всё ещё сжимающую в кулаке несколько сорванных по дороге сюда полевых цветов, которые она так и не решилась положить к остальным, — и впервые за эти три дня ответил чистую, без единой оговорки, правду.

— Да, — сказал я. — Верю. Больше, чем ты думаешь.

Она долго молчала, глядя перед собой, а потом едва заметно улыбнулась — впервые за весь день — и просто сказала:

— Хорошо. Я тоже хочу верить.

Мы шли домой в стущающихся сумерках, мимо труб, из которых валил дым, мимо окон, в которых одно за другим зажигались масляные лампы, и я думал о золотистом огоньке над свежей могилой, о тёплом отпечатке чужой — а теперь, быть может, немного и моей — памяти, и о том тёмном, безмолвном пятне у стены, которое, я был уверен, запомнило меня так же ясно, как я запомнил его.

Дома, когда Лилли уже легла, а мать осталась внизу штопать при свете лампы, я поднялся к себе в мансарду и долго сидел на краю узкой кровати, не зажигая свечи, — просто смотрел в маленькое окошко на кусок неба над крышами, серый даже ночью из-за вечного марева над трубами.

За этот день я узнал о мире, в который попал, больше, чем за все предыдущие три вместе взятые. Духи были не просто редким, случайным явлением — они пронизывали город насквозь, липли к вещам, к местам, к людям, откликались на тепло и на горе с одинаковой готовностью. Одни были безобидны, как стайка мошкеры у колодца, — озорные, почти детские в своём любопытстве. Другие несли в себе что-то невыразимо доброе, как огонёк над отцовской могилой, будто сама память о хорошем человеке могла обрести форму и остаться рядом с теми, кто его любил. А были и третьи — тёмные, тяжёлые, глядящие с тем самым голодным, оценивающим интересом, от которого хотелось оказаться как можно дальше.

Я не знал пока, к какой из этих категорий отношусь я сам в их глазах — притягиваю ли их теплом, любопытством или чем-то куда менее приятным. Но одно я понимал уже совершенно отчётливо: спрятаться от этого не выйдет. Что бы ни привело меня в это тело, в эту семью, в этот дымный, тесный город — духи меня уже заметили. Все, сколько их тут было. И, судя по тому тёмному пятну у кладбищенской стены, заметили не только добрые.

Где-то на первом этаже скрипнула половица под шагами матери, тихо звякнула отставленная в сторону чашка, и этот простой, домашний звук неожиданно принёс больше спокойствия, чем любые размышления. Я лёг, не раздеваясь, — в мансарде снова было холодно, — и уснул быстрее, чем ожидал, унося с собой в сон не страх, а странную, тёплую благодарность за то, что где-то в этом городе, полном чужих людей и незнакомых огней, всё-таки нашлось место, которое, пусть и ненадолго, начинало ощущаться домом.

## Глава 4

Спустя два дня после кладбища мать наконец решилась разобрать отцовские вещи.

Эти два дня прошли тихо, почти незаметно, — обычная жизнь потихоньку возвращалась в свою колею, как бы дико это ни звучало применительно к дому, где всего неделю назад стоял гроб. Мать вновь садилась за шитьё с рассвета до поздней ночи, Лилли уходила в приходскую школу с корзинкой, в которой лежал скудный обед, а я слонялся по дому, изображая занятость, — по правде говоря, я всё ещё не решил, что делать с предложением мистера Долтона насчёт работы в доках, и с каждым днём откладывать этот разговор становилось всё труднее. Мысль о том, чтобы провести оставшуюся жизнь, таская уголь на баржи, вызвала во мне почти физическое сопротивление — но и признаться в этом матери, у которой каждый грош был на счету, я не мог себя заставить.

Она долго тянула с разбором сундука — я это видел даже без всякого дара, по тому, как она обходила стороной старый сундук в углу, как отводила взгляд от вбитого в стену крючка, на котором всё ещё висел рабочий плащ отца, пропахший угольной пылью и рекой. Но в тот вечер, убрав со стола посуду после ужина, она вдруг тихо сказала:

— Пора. Хватит уже вещам пылиться без дела. Эдвард, принеси сундук.

Голос у неё был ровный, но я видел, чего ей стоило это спокойствие.

Сундук оказался тяжелее, чем я ожидал, — но руки сами, без раздумий, знали, как его подхватить и куда опустить, каким движением поддеть тугую защёлку, и я в очередной раз мысленно поблагодарил эту услужливую телесную память за то, что избавляла меня от лишних вопросов. Внутри пахло табаком, машинным маслом и чем-то ещё — тёплым, домашним.

Лилли устроилась рядом на полу, поджав ноги, и молча наблюдала, как мать одну за другой достаёт вещи и раскладывает их на столе: пара рабочих рукавиц, заскорузлых от многолетнего пота; свёрнутый кожаный ремень; несколько писем, перевязанных бечёвкой, — судя по всему, от какой-то дальней родни; потёртая курительная трубка с обгрызенным мундштуком; и, наконец, маленькая деревянная шкатулка, потемневшая от времени, с простым резным узором на крышке.

— Это дедовская была, — сказала мать, взяв шкатулку в руки и осторожно проведя пальцем по резьбе. — Твой отец в неё мелочи разные складывал. Пуговицы, гвозди, всякую всячину.

Она открыла крышку. Внутри действительно обнаружилась пёстрая коллекция мелочей: несколько потускневших пуговиц, огрызок карандаша, моток бечёвки, пара гнутых гвоздей, надёжно припрятанных «на всякий случай», — в общем, ничего примечательного. Мать вздохнула, будто ожидала найти что-то другое, и я вдруг понял: она искала не вещи. Она искала хоть какой-то знак, хоть слабый отголосок того, что отец всё ещё где-то рядом.

Я мог бы сказать ей, что он рядом. Что я видел это своими глазами два дня назад, на кладбище, и что тёплый золотистый огонёк, паривший над его могилой, был реальнее любой вещи в этом сундуке.

Но я промолчал. Не потому что не доверял ей — просто не знал, как облечь это в слова, которые не прозвучали бы как бред отчаявшегося сына, пытающегося утешить мать нелепой выдумкой.

— А это что? — спросила Лилли, вытаскивая из сундука пожелтевший, туго свёрнутый лист бумаги.

Мать развернула его осторожно, будто боясь, что бумага рассыплется в руках, и на её губах впервые за вечер мелькнуло что-то похожее на настоящую улыбку.

— Твой рисунок, — сказала она, протягивая лист мне. — Ты его отцу на именины подарил, лет пять, наверное, назад. Он его в сундук спрятал — говорил, стены жалко пачкать, а выбросить рука не поднимается.

Я взял листок и увидел неумелый, но старательный детский рисунок: покосившийся дом, четыре фигурки перед ним — судя по росту, отец, мать, сам Эдвард и совсем маленькая Лилли, — и неровное, во всё небо, солнце с растопыренными лучами. В углу корявыми буквами было выведено: «Папе от Эда».

Что-то в груди у меня сжалось так резко, что я едва не выронил листок. Это не было моим воспоминанием — я никогда не рисовал этот дом, никогда не дарил этот рисунок, — и всё же чувство узнавания было настолько сильным, что на мгновение граница между мной и Эдвардом, между моей чужой душой и его унаследованным телом, показалась совсем тонкой, почти прозрачной.

— Хороший был рисунок, — тихо сказал я, аккуратно откладывая листок в сторону, туда, где мать сможет забрать его позже.

— Лучший, — с нажимом сказала мать, снова принимаясь за письма.

Пока она их перебирала, я невольно бросил взгляд на каминную полку — туда, где всё это время, с самого дня похорон, никем не тронутые, лежали отцовские карманные часы на потёртой медной цепочке. Их не убрали в сундук — видимо, никто в доме попросту не решился прикоснуться к вещи, которую отец носил при себе каждый день, — они так и остались лежать на видном месте, будто дожидаясь кого-то.

— Мам, — сказал я, сам не вполне понимая, зачем спрашиваю. — А часы? Их тоже куда-то убрать надо?

Мать подняла взгляд на каминную полку, и что-то в её лице дрогнуло.

— Часы твои, — тихо сказала она. — Отец давно говорил: как в возраст войдёшь — тебе передаст. Так и не успел. — Она помолчала, потом кивнула сама себе, будто принимая решение. — Возьми. Пора уже.

Я подошёл к полке и взял часы в руки.

И почувствовал его сразу.

Тепло — вот первое, что я ощутил, стоило пальцам сомкнуться на прохладном металле корпуса. Не физическое тепло, а нечто похожее на то, что я испытал на кладбище, — и всё же другое: не такое светлое и печальное, а более плотное, более старое, будто это тепло копилось здесь не один десяток лет.

Я откинул крышку часов, стараясь не привлекать внимания матери, и увидел его — огонёк, устроившийся глубоко внутри механизма, среди тонких шестерёнок и потемневшей от времени пружины. Он оказался совсем не похож на тот, кладбищенский: не мягкий золотисто-жёлтый, а более густой, тёплый оттенок старой бронзы, с едва заметным металлическим отливом, будто сам металл часов окрасил его изнутри. Держался он иначе — не безмятежно и ровно, а с какой-то настороженной, почти сторожевой неподвижностью, как часовой, слишком долго стоящий на одном посту. Я сразу понял: это не случайный, залётный гость и не тот же дух, что провожал меня на кладбище. Он был здесь давно. Возможно, дольше, чем жил на свете сам отец Эдварда.

«Ты», — подумал я, не зная, услышит ли он меня вообще, есть ли у духов уши в привычном смысле этого слова. — «Ты всё это время был здесь».

Огонёк качнулся — легко, будто в подтверждение, — и в моей голове вспыхнул образ, на этот раз не один, а сразу череда, быстрая, смазанная: те же грубые мужские руки, что я видел на кладбище, но моложе, без седины на костяшках; ещё более старые руки, морщинистые, с обрубальным кольцом, потемневшим от времени; и совсем древние, почти неразличимые —

то ли мужские, то ли женские, — сжимающие тот же корпус часов на фоне какого-то совсем другого, незнакомого мне интерьера.

Поколения. Одно за другим, сменяя друг друга, как страницы в книге, которую я не читал.

Я задохнулся, будто меня окатили ледяной водой, хотя чувство было ровно противоположным — тёплым, до слёз тёплым.

— Эд? — Мать подняла на меня взгляд, встревоженная моим лицом. — Ты в порядке?

— Да, — выдавил я, чувствуя, как горло сжимается. — Просто... тяжёлые они. Не ожидал.

Она мягко улыбнулась, приняв мои слова за иносказание, — впрочем, так оно, по сути, и было, — и вернулась к письмам, а я остался стоять у полки с часами в руках, ощущая, как огонёк внутри механизма мягко, будто узнавая, перетекает от одной шестерёнки к другой.

Тем вечером, когда Лилли и мать уже легли, я остался один за столом, при свете одной-единственной свечи, и осторожно, будто боясь спугнуть, снова открыл крышку часов.

— Здравствуй, — тихо сказал я, чувствуя себя одновременно нелепо и совершенно серьёзно. — Не знаю, слышишь ли ты меня по-настоящему. Не знаю даже, кто ты — просто память, застрявшая в старом металле, или что-то большее. Но, кажется, ты был рядом с этой семьёй куда дольше меня. Спасибо, что остался.

Огонёк внутри механизма разгорелся чуть ярче — на мгновение, будто в ответ, — а потом медленно, лениво выплыл наружу и завис в воздухе передо мной, тёплый и ровный, как маленькое пламя свечи в безветренную ночь.

Я протянул руку — осторожно, не зная толком, что вообще можно сделать с духом, — и он, поколебавшись мгновение, качнулся навстречу, будто позволяя себя коснуться. Разумеется, пальцы не почувствовали ничего материального — ни холода, ни тепла, ни малейшего сопротивления воздуха, — и всё же в тот момент, когда моя рука прошла сквозь крошечное пламя, я готов был поклясться, что ощутил что-то. Не физическое прикосновение — скорее отклик, тёплую волну узнавания, прокатившуюся по коже, будто кто-то очень осторожно, очень бережно ответил на моё «спасибо».

Через какое-то время я осмелился спросить — не вслух, а как-то иначе, тем же внутренним движением, каким, кажется, и следовало обращаться к таким существам:

«Ты можешь меня понять? По-настоящему понять, а не просто отзываться на тепло?»

Ответ пришёл не словами — их у огонька, судя по всему, попросту не было, — а лёгким, почти игривым покачиванием, за которым тут же последовал новый образ, на этот раз совсем короткий: раскрытая ладонь, протянутая вперёд, и что-то похожее на ожидание. Будто он спрашивал меня о том же самом, что я спрашивал его.

Я невольно улыбнулся.

— Ну хотя бы это мы выяснили, — тихо сказал я. — Мы оба толком не понимаем, что происходит.

Огонёк качнулся сильнее — резко, коротко, — и я готов был поклясться, что это движение как нельзя лучше походило на смех.

Я попробовал ещё раз, осторожнее:

«А ты можешь сказать мне, кто ты? Не показать чувство — а именно объяснить?»

На этот раз ответ был другим — медленнее, тусклее, будто вопрос дался огоньку с трудом. Образ, всплывший в моей голове, оказался смазанным, почти неразличимым: та же длинная вереница лиц, сменяющих друг друга одно за другим, слишком быстро, чтобы я успел различить хоть одно, — и следом ощущение, тёплое, но грустное, будто он и сам не до конца понимал ответ на этот вопрос, а если и понимал — не находил способа его передать.

Я не стал настаивать. Что бы это ни было — старый хранитель, привязавшийся к вещи много поколений назад, или что-то более странное, научившееся жить внутри тикающего механизма, — сейчас явно было не время выяснять подробности. Вместо этого я просто кивнул, будто мы заключили молчаливое соглашение, и сказал:

— Хорошо. Не обязательно объяснять сейчас. Просто оставайся, ладно?

Огонёк разгорелся — на этот раз ярче, увереннее, — и медленно вернулся обратно внутрь корпуса, устроившись среди шестерёнок так уютно, будто провёл там не один десяток лет.

Я закрыл крышку, послушал мгновение мерное, ровное тиканье — и мне вдруг подумалось, что звук этот стал чуточку ровнее, чем должен быть звук простого механизма.

Перед тем как задуть свечу и подняться к себе в мансарду, я аккуратно застегнул цепочку на своём жилете, повесив часы туда, где им, судя по всему, и полагалось быть с этого дня, — рядом со мной, при мне, всегда на расстоянии вытянутой руки.

— Спокойной ночи, — тихо сказал я в пустоту комнаты, и мне показалось — а может, и не показалось, — что из кармана жилета в ответ долетело едва уловимое, тёплое мерцание.

Засыпая в тот вечер, я впервые с момента пробуждения в этом мире подумал не о том, что я потерял, оказавшись здесь чужаком в чужой жизни, а о том, что успел найти. Семью, которая пусть и не знала правды, но любила меня — или, по крайней мере, того, чьё место я занял, — искренне и без остатка. Сестру, которая, кажется, что-то такое чувствовала — самую малость, едва уловимо, — хотя объяснить, что именно, пока не взялся бы даже я сам. И маленький тёплый огонёк, поселившийся в отцовских часах, — первого настоящего друга в мире, где я был совершенно один.

Я ещё не знал, что это было только начало. Что где-то за пределами этой тесной, бедной, но уже такой родной комнаты город уже заметил всплеск чего-то необычного, исходящий от одного случайного дома на одной случайной улице, — и что очень скоро в мою жизнь войдут люди в серых плащах, для которых подобные тёплые чудеса были не поводом для умиления, а поводом для расследования.

Но в ту ночь я спал спокойно, и мне снилось мерное тиканье, чьи-то натруженные руки на потёртом металле и чей-то тихий, довольный смех.

Утром, едва открыв глаза, я первым делом нащупал в кармане жилета, брошенного на спинку стула, знакомую тяжесть часов — и, поднеся их ближе, увидел лёгкое, едва заметное свечение, тут же погасшее, стоило мне моргнуть, будто огонёк застеснялся, что его застали врасплох. Я невольно улыбнулся — как выяснилось, просыпаться было куда легче, когда где-то рядом ждало нечто тёплое и дружелюбное, а не только серый свет из окошка и осознание чужого тела под одеялом.

Спускаясь вниз, я на мгновение задержался у крючка с отцовским плащом — тем самым, который мать всё ещё не решалась убрать, — и, повинувшись внезапному порыву, коснулся пропахшей угольной пылью ткани кончиками пальцев. Тепла в ней не было — ни настоящего, ни того, другого, узнаваемого, — и я понял, что не каждая вещь хранит в себе гостя. Часы оказались особенными. Быть может, потому что несколько поколений этой семьи, одно за другим, держали их в руках каждый день, год за годом, вкладывая в них что-то от себя понемногу, капля за каплей, пока однажды не набралось достаточно, чтобы там осталось хоть что-то живое — и не одно, а, судя по всему, целая цепочка чьих-то жизней, свитая в одно тёплое, мерцающее целое.

Мысль эта — простая, но отчего-то очень важная — осталась со мной на весь день: не все вещи одинаковы. Значение имеет не сама вещь, а то, сколько тепла, времени и настоящей жизни в неё вложили.

## Глава 5

На пятый день после похорон я наконец решился пойти к докам — не наниматься, а просто посмотреть, что за место так пугало меня одной мыслью о нём, и, если получится, отложить окончательный ответ мистеру Долтону ещё на день-другой под каким-нибудь благовидным предлогом.

Мать не спрашивала, куда я иду, — просто кивнула, вручила мне для верности кусок хлеба в дорогу и вернулась к шитью. Часы — я уже привык называть их просто часами, без затей, хотя внутри жило нечто куда более странное, чем механизм, — покоились в кармане жилета, и я то и дело ловил себя на том, что придерживаю их рукой через ткань, как что-то хрупкое.

Путь к докам пролегал через кварталы, которых я ещё не видел, — и, пока шёл, я снова и снова ловил себя на том же, что и на рынке несколько дней назад: огоньки были повсюду, вились у водосточных труб, дремали в щелях ставен, качались на вывесках лавок. Я уже почти привык к этому фоновому, тихому сиянию — оно перестало пугать и начало казаться почти уютным, как привычный городской шум для человека, который прожил в шумном месте достаточно долго. А обычного шума хватало и без всякой мистики: деловой район встретил меня суетой клерков, спешащих из контор с портфелями подмышкой, зазывалами у лавок, парой экипажей, застрявших в тесноте перекрёстка, и извозчиком, во весь голос бранившимся с кем-то, кто перегородил ему дорогу тележкой с капустой. Чем ближе я подходил к реке, тем гуще становился воздух — не только от дыма фабричных труб, но и от самого запаха реки: сырость, гниющие водоросли, смола и что-то ещё, тяжёлое, металлическое, витающее над самой водой.

Доки оказались дальше, чем я предполагал, — не через весь город, но и не рядом: пришлось пересечь весь наш бедный квартал, затем деловую часть Вельмонта с её лавками и конторами, прежде чем впереди наконец показались портовые склады и краны. Здесь было людно по-своему — грузчики катили тачки, матросы окликали друг друга через улицу, у пивной на углу толпилась компания докеров, — но чем дальше я уходил от главной набережной, тем быстрее редела толпа. Ближе к реке кривые улочки постепенно уступали место широким, мошённым булыжником проспектам, а затем снова сужались, спускаясь к воде через путаницу переулков, складов и доходных домов, которые выглядели ещё беднее, ещё грязнее наших собственных — и куда менее людными.

Где-то между деловым районом и набережной, коротая дорогу, я от нечего делать завёл со своим спутником в кармане нечто вроде игры. «Просто часы» — так я называл их вслух, при матери и Лилли, но наедине с самим собой такое имя казалось мне до нелепости пресным для существа, которое несколько поколений хранило чью-то семью. Я перебирал варианты один нелепее другого — «Хранитель», слишком торжественно; «Искра», слишком похоже на обычного огонька с улицы; «Дедушка», от чего мысленно поморщился я сам, — и по пути через путаницу дворов почти не смотрел под ноги, целиком поглощённый этим внутренним разговором.

«Ну хоть что-то же тебе подходит», — мысленно посетовал я, когда в кармане в ответ на очередное неудачное имя ощутилось короткое, насмешливое подрагивание, до странности похожее на тиканье самого механизма — размеренное, чуть учащённое, будто он сам подсказывал мне ответ.

Тик. Так. Тик. Так.

— Тик-Так, — вслух, вполголоса произнёс я, не удержавшись от смешка, и почувствовал, как в кармане потеплело — сильнее, увереннее, чем обычно, будто дух одобрил находку куда охотнее, чем все прежние, более торжественные варианты. — Ну хорошо. Пусть будет Тик-Так.

Довольный этой маленькой победой, я настолько увлёкся мысленным диалогом с ново-окрещённым Тик-Таком — пробуя обращаться к нему по имени, ловя на это слабые, но вполне ощутимые отклики тепла, — что не заметил, как свернул не туда.

Солнце уже клонилось к закату, когда я понял, что заблудился.

Не совсем заблудился — я примерно представлял, в какой стороне река, — но улица, которой я шёл, вдруг вывела меня не к докам, а в путаницу узких, тесных переулков между высокими, тёмными от копоти стенами складов. Людской гул, ещё недавно доносившийся со всех сторон, остался позади так внезапно, будто его отрезали ножом: ни грузчиков, ни матросских окриков, ни даже случайного прохожего. Фонарей здесь тоже не было вовсе; редкие окна светились тускло, будто нехотя, а мостовая под ногами становилась всё более разбитой, местами и вовсе переходя в утоптанную грязь.

Я замедлил шаг, соображая, стоит ли повернуть назад, — и тут почувствовал его.

Ощущение накатило раньше, чем я увидел хоть что-то, — тяжёлое, липкое чувство, будто воздух вокруг вдруг стал гуще, будто кто-то невидимый придвинулся ко мне почти вплотную и дышит в затылок. Часы в кармане жилета вдруг стали холодными — не просто прохладными, как обычный металл, а по-настоящему, неприятно холодными, будто их вынули из ледяной воды, — и я готов был поклясться, что почувствовал слабую, едва уловимую дрожь механизма, словно Тик-Так — минуту назад весело перебрасывавшийся со мной тёплыми откликами — весь сжался внутри своего латунного укрытия.

Я обернулся.

В глубине переулка, там, где тень между двумя складами была особенно густой, висел огонёк.

Только это было неправильное слово. То, что я видел на кладбище, на рынке, дома — то были огоньки: тёплые, живые, пусть иногда и пугливые точки света. Это было другое. Оно было тёмным — не пятном отсутствия света, как то, что я видел у кладбищенской стены, а именно тёмным светом, если такое вообще возможно: пульсирующим, багрово-чёрным, будто внутри него билось что-то похожее на сердце, налитое дурной, застоявшейся кровью.

От него исходило что-то, что я мог бы назвать голодом. Не в переносном смысле — в самом буквальном, первобытном: острое, нетерпеливое, оценивающее внимание, с которым смотрят не на человека, а на еду.

Я замер.

Разум подсказывал: беги. Инстинкт тела Эдварда, судя по тому, как быстро колотилось моё — теперь моё — сердце, полностью соглашался. Но что-то ещё, глубже страха, удерживало меня на месте, будто под этим взглядом любое резкое движение было бы фатальной ошибкой — как с диким зверем, который замечает бегущую жертву быстрее, чем стоящую на месте.

Тёмный сгусток качнулся — медленно, почти лениво, — и потёк ко мне. Не по прямой, а зигзагом, будто прощупывая пространство между нами, будто до конца не веря в удачу.

Внутри моей груди — там, где раньше распускалось тепло от контакта с добрыми духами, — сейчас было ровно обратное чувство: ледяное, тошнотворное давление, нарастающее с каждым фуютом, что сокращал между нами этот сгусток тьмы.

Я попытался вспомнить хоть что-то полезное — хоть какое-то подобие защиты, хоть намёк на то, как справляются с подобным люди, для которых это ремесло, — но в голове было пусто, только паника, обжигающая, отчётливая, впервые за все дни в этом теле настолько настоящая, что перебивала собой даже удивление. Я был совершенно, абсолютно беззащитен. Ни одного заклинания, ни одного амулета, ни малейшего представления о том, что вообще можно противопоставить существу, состоящему, кажется, из чистого голода.

Часы в кармане задрожали сильнее, и в следующий миг крышка сама собой откинулась — Тик-Так вырвался наружу, тревожно заметавшись в воздухе передо мной, тусклый и почти бесцветный от испуга. Он не показывал ни образа, ни воспоминания, как раньше, — просто метался из стороны в сторону, снова и снова тычась в мою сторону, будто подталкивая, будто силой воли пытался сдвинуть меня с места. Сигнал был простым, грубым, первобытным — и понятным без всякого перевода.

Опасность. Беги. Сейчас же.

Тик-Так тут же метнулся обратно внутрь, и крышка захлопнулась сама собой с негромким шелчком, — будто он понимал не хуже меня, что удирать через тёмные переулки безопаснее, укрывшись внутри латунного корпуса, чем паря снаружи на виду у злого духа.

Я послушался.

Не знаю, как я не упал, петляя между ящиками и штабелями бочек в сгущающейся темноте, — ноги несли меня сами, а страх, судя по всему, оказался куда лучшим учителем равновесия, чем любая привычка: я не поскользнулся ни разу, хотя камни под ногами то и дело предательски съезжали от сырости. Сзади не было ни звука погони — ни шагов, ни дыхания, — но ощущение липкого, голодного внимания не отпускало, будто тьма преследовала меня не ногами, а самым направлением взгляда.

Один раз я всё же обернулся — доля секунды, не больше, — и увидел, что тёмное пятно не отстаёт, хотя и не приближается: оно текло следом по переулку низко, почти по земле, огибая ящики и лужи так, будто те не составляли для него ни малейшего препятствия, будто оно вообще не было связано законами обычного пространства так, как связано тело. От одного этого зрелища у меня внутри всё оборвалось, и я побежал ещё быстрее, уже не разбирая толком дороги, полагаясь только на инстинкт — вперёд, прочь, куда угодно, лишь бы дальше от этого переулка.

Я вылетел из переулка на более широкую улицу, чуть не сбив с ног какого-то грузчика, покотившего мимо тачку с углём, — тот выругался мне вслед, но я даже не обернулся, — и только спустя добрых два квартала, тяжело дыша, привалился спиной к стене какой-то лавки, под тусклым, но невероятно, невыразимо желанным светом обычного, честного газового фонаря.

Ощущение погони постепенно отступало. Часы в кармане всё ещё были прохладными, но дрожь унялась, сменившись прежним, привычным, едва заметным теплом.

Я стоял, привалившись к стене, и медленно приходил в себя, вслушиваясь в собственное частое дыхание и стук сердца, отдававшийся, казалось, во всём теле разом. Мимо, не обращая на меня внимания, шли редкие прохожие — рабочие, возвращающиеся с фабрик, женщина с корзиной, мальчишка-посыльный, — и с каждым спокойным, обыденным лицом, мелькавшим передо мной, мир постепенно возвращал себе привычные очертания. Фонарь. Мокрая мостовая. Запах жареных каштанов откуда-то из-за угла. Обычный вечер в обычном городе — как будто пятью минутами раньше я не бежал сломя голову от чего-то, способного, как мне казалось, проглотить меня целиком и не заметить.

Я вытащил часы, откинул крышку — и увидел, что Тик-Так забился в самый дальний уголок механизма, почти неразличимый, съёжившийся, будто до сих пор пытался спрятаться.

— Всё, — тихо сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовал. — Мы ушли. Всё хорошо.

Потребовалось несколько долгих секунд, прежде чем огонёк несмело, робко разгорелся чуть ярче — не так уверенно, как обычно, но достаточно, чтобы я выдохнул с облегчением.

Мимо, ничего не подозревая, текла обычная жизнь города, которая всего в паре кварталов отсюда только что была на волосок от чего-то, что смотрело на человека, как на еду.

Никто из них ничего не почувствовал. Никто даже не взглянул в сторону тех переулков.

Один я знал, что там, в темноте между складами, всё ещё пульсирует голодное, терпеливое внимание — и что рано или поздно оно найдёт себе другую, менее удачливую добычу.

Домой я вернулся затемно, придумав по дороге сбивчивое объяснение про то, что заблудился, разыскивая контору мистера Долтона, — благо мать, обеспокоенная моим долгим отсутствием, не стала слишком дотошно расспрашивать, просто обняла крепче обычного и заставила съесть двойную порцию остывшего ужина.

— Долтона нашёл хоть? — спросила она, ставя передо мной тарелку.

— Контору не нашёл, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя руки, держащие ложку, всё ещё чуть подрагивали. — Заплутал в переулках у складов. Там сущий лабиринт.

— Ох, не ходил бы ты туда один в сумерках, — покачала головой мать. — Места там дурные. Матросня, портовое отребье, всякое случается.

Я едва не рассмеялся — не потому что это было смешно, а потому что «портовое отребье» оказалось до нелепого безобидным объяснением по сравнению с тем, что действительно поджидало меня в тех переулках. Но вслух сказал только:

— В следующий раз засветло пойду.

Лилли, впрочем, посмотрела на меня внимательнее — тем самым не по-детски цепким взглядом, — но тоже промолчала, за что я был ей безмерно благодарен. Только когда я уже вставал из-за стола, она тихо, так, чтобы не услышала мать, спросила:

— Ты бледный. Случилось что?

— Устал просто, — сказал я, через силу улыбнувшись. — Долгий день.

Она не поверила — это было ясно по тому, как чуть сузились её глаза, — но кивнула и не стала настаивать, и я мысленно в очередной раз подивился тому, насколько эта тринадцатилетняя девочка временами казалась взрослее меня самого, прожившего на свете куда больше лет, пусть и в другом теле, в другой, ныне закончившейся жизни.

Уже в мансарде, лёжа в темноте и глядя в потолок, я снова и снова прокручивал в голове тот момент, когда тёмный сгусток впервые качнулся в мою сторону. Тепло, льнувшее ко мне до сих пор, — все эти дружелюбные огоньки на кустах, в старых вещах, на кладбище — казалось теперь почти наивным в сравнении с той голодной тяжестью, что я ощутил в переулке.

Если добрые духи тянулись ко мне с теплом, потому что находили во мне нечто притягательное, — что, если по той же самой причине меня замечали и другие? Те, кто хотел вовсе не согреться рядом.

Мысль эта была неприятной, холодной, и я долго не мог заснуть, вслушиваясь в тихое, ровное тиканье часов на прикроватной полке — единственный звук, который в ту ночь казался мне по-настоящему успокаивающим. Я то и дело поглядывал на них, проверяя, не потемнели снова знакомый тёплый отсвет внутри механизма, — но Тик-Так, кажется, полностью оправился от испуга и мерцал ровно, спокойно, будто ничего и не произошло.

«Спасибо», — мысленно сказал я ему в который раз за этот вечер. — «Если бы не ты, не знаю, чем бы это закончилось».

Ответом послужило слабое, но осязаемое потепление — не образ, не картинка, а просто чистое, безыскусное чувство: что-то вроде «не за что» и «конечно, а как иначе» одновременно.

Я долго лежал так, слушая тиканье и собственное, постепенно успокаивающееся сердце, и думал о том, что мир, в который я попал, оказался не просто странным и мистическим — он был по-настоящему опасным, причём опасным именно для меня, причём по причинам,

которых я пока даже не начинал понимать. Кто-то или что-то находило меня привлекательным — и не все, кто находил, желали мне добра.

Я не знал тогда, что мой испуганный, панический побег через доки не остался незамеченным — не людьми, нет, а чем-то куда более чутким, куда более внимательным к подобным всплескам страха и силы. Что где-то в городе, в высоком мрачном здании, о существовании которого я пока даже не подозревал, тихо звякнул сигнальный колокольчик на приборе, назначение которого было — улавливать именно такие вспышки: редкие, резкие, необъяснимые скачки чего-то, что обычные люди называли предрассудками, а те, кто работал с этим каждый день, — вполне реальной, измеримой силой.

И что уже утром следующего дня, задолго до того, как я сам успею об этом задуматься, кто-то в сером плаще отправится по моему следу.

Но в ту ночь я знал только одно: где-то в темноте между складами меня ждёт нечто, готовое ждать столько, сколько потребуется. И что в следующий раз мне может настолько не повезти.

## Г

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.